подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста» [1, т. 5, с. 157—158]?

Взгляд автора устремлен не только вовне, но и в глубины собственного «я». Исповедуясь перед читателями, он не боится предстать в невыгодном свете. Истина о самом себе гораздо важнее, чем внешние приличия, которые привыкли соблюдать герои и читатели. Признаки внутренней охлажденности потому так и тревожат автора, что он наделен живой душой. Ведь чувства и переживания его вновь возрождаются и оживают во всей полноте, стоит только вспомнить о дороге, о ночи, которая «совершается в вышине», о небе, раскинувшемся «так необъятно, звучно и ясно» [1, т. 5, с. 318].

Уединение и самоуглубление позволяют отыскать верный нравственный ориентир, без которого трудно сохранить в себе истинно человеческое начало, душевно не омертветь. Поведение человека, по мнению автора, должно регулироваться прежде всего внутренними нравственными требованиями, а не внешними формально-юридическими законами. Знаменательна в этом смысле смерть прокурора, т. е. лица, призванного следить за правильным применением законов. Формально-юридическое начало не способно само по себе придать жизни, лишенной нравственного содержания, осмысленность и полноту. Не случайно Чичиков, в ком сильны практический ум и житейская хватка, но спит нравственное чувство, использует именно ссылку на «закон» как средство убедить Манилова в безгрешности своего намерения: «Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов... закон — я немею пред законом» [1, т. 5, с. 50].

Но столь же закономерно, что Чичиков с легкостью профанирует высокое слово христианской этики, превращает это слово, преследуя свою выгоду, в тему и предмет бытового разговора. «Из одного христианского человеколюбия хотел,— уверяет он Коробочку в бескорыстности своего предложения уступить ему мертвые души,— вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду...» [1, т. 5, с. 77]. Или, вызывая выгодное для себя впечатление, жалуется, перефразируя (и в соответствии со своим характером и, очевидно, по осознанному желанию творца поэмы) пророка Исайю: «Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте горемыке!...» [1, т. 5, с. 52].

Но как же меняется в устах Чичикова смысл пророческого нравоучения! Библейская цитата, перефразированная им, не просто превратилась в словесное клише, утратив свое некогда высокое значение. Правда, и в таком виде она сохраняет функцию отсылки к существенной для автора этической традиции, но сохраняет не прямо, а по контрасту с содержанием речи героя. Лицемерное слово «приобретателя» умерщвляет самое идею морального греха, заключенную в призыве пророка, само представление о нравственной ответственности за совершаемое (умом Чичиков понимает, что́ надо сказать, какое слово ввернуть, чтобы выглядеть «добродетельным», но к содержанию этих слов он глух, внутренне они чужды герою, поскольку в самой душе его размыта грань между добром и злом). Но точно так же умерщвляется «отеческое чувство» Кифы Мокиевича, не желающего «укорить» сына при людях за его шалости: «...да ведь гласность-то, вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой» [1, т. 5, с. 352]. Так же умерщвляется и чувство истинной любви к родине в криках «патриотов», «думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное» [1, т. 5, с. 353].

Подчиняя свое существование формально-юридическому началу (используя «законы» для достижения каких-то материальных выгод) или правилам внешнего приличия (чтобы соблюсти подобающий положению